



ВЛАСТЬ ПОД ВЫВЕСКОЙ НАУКИ¹

POWER UNDER THE GUISE OF SCIENCE

Лиана Анваровна Тухватулина – аспирант сектора социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: spero-meliora@bk.ru

Liana Tukhvatulina – PhD-student, department of social epistemology, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

(Рецензия на книгу *Штера Н., Грундманна Р.* Власть научного знания. СПб. : Алетейя, 2015)

Вектор развития философской мысли (по меньшей мере, в континентальной традиции) за последние 30–40 лет свидетельствует о повышении интереса к разработке теоретико-познавательной проблематики с точки зрения социологии знания. Исторический поворот в философии науки, произошедший благодаря работам М. Полани, Т. Куна, П. Фейерабенда, С. Тулмина и др., вывел на повестку дня этой дисциплины социологические вопросы, связанные с социокультурным и историческим контекстами обоснования научного знания и их влиянием на формирование и развитие научных программ. Значение этой революции сложно переоценить, поскольку все последующее развитие не только философии науки, но и ряда смежных дисциплин (от теории познания до теории политики) характеризовалось активным обращением к методологическим ресурсам исторической философии науки. Более того, указанный поворот ознаменовал собой появление новых междисциплинарных направ-

лений в социально-исторических и гуманитарных науках, среди которых все больший потенциал обретает программа STS (Science, Technology, and Society). Проблемное поле последней во многом



¹ Работа выполнена при поддержке РФФ, проект № 14-18-02227 «Социальная философия науки. Российская перспектива»



сформировано на основе постпозитивистских исследовательских установок и ориентировано на рассмотрение роли внешних и внутренних факторов развития научного знания, а именно: взаимодействия и взаимовлияния между научной и технологической, политической и экономической сферами.

Рецензируемая работа Нико Штера и Райнера Грундманна представляет собой классический образец *case study*, выполненный «по правилам» программы STS. Здесь несколько на первый взгляд не связанных друг с другом сюжетов из истории науки концептуализируются в качестве иллюстративных примеров, подтверждающих исходный тезис о наличии теснейшей взаимосвязи между внутренними (которые относятся непосредственно к научному познанию) и внешними (социокультурными, политическими, технологическими) факторами развития знания. В работе «Власть научного знания» такой концептуализации подвергаются кейнсианство, немецкая расология и современная климатология.

Выбор кейсов для анализа неслучаен – он обусловлен той трактовкой понятия знания, которую дают авторы: «Мы предлагаем понимать под знанием способность и возможность приводить в движение те или иные процессы» [Грундманн, Штер, 2015: 33]. Авторы, по их собственному признанию, берут за основу знаменитую формулу Ф. Бэкона «*Scientia est potentia*», адаптируя ее с учетом специфики современного философского дискурса. Согласно классическому определению Бэкона, знание обладает особенной силой «приводить вещи в движение» – способствовать преобразованию окружающей действительности. Именно в этом заключаются его общественное значение и практическая польза. В контексте современной эпистемологии идея Бэкона своеобразным образом преломляется в социологиче-

ской теории фреймов Ирвинга Гофмана [Гофман, 2004], к которой также апеллируют Штер и Грундманн. При этом авторы не используют теорию Гофмана как средство концептуализировать проблему оснований социальной действительности (власти) научного знания.

Концепция Гофмана, как и многие другие подходы, которые осветили авторы, призвана скорее обозначить оптику рассмотрения проблемы «власти знания» и указать на общий замысел работы. Однако обилие отсылок к различным источникам и постоянное воспроизведение множества существующих позиций по проблеме во многом осложняют понимание авторской новизны в аргументации заявленных тезисов и способствуют расфокусировке внимания читателя. Тем не менее обращение к концепции Гофмана представляется оправданным, поскольку метафорика фрейм-анализа (речь при этом едва ли может идти о последовательном заимствовании метода Гофмана) более всего позволяет авторам прояснить предложенный ими подход к проблеме функционирования научного знания в обществе.

В трактовке Гофмана фрейм определяется одновременно как «матрица возможных событий» и «схема интерпретации» [Вахштайн, 2014: 89], причем единство этих определений имеет принципиальный характер. Объединяя моделирующую и интерпретативную функции фрейма, Гофман тем самым настаивает на тезисе о неразрывности когнитивных и ситуационных элементов восприятия и познания: «Я считаю [фреймирование] свойством самой организации событий и когниций» [цит. по: Грундманн, Штер, 2015: 32]. Авторы полагают, что возможность «приведения вещей в действие» (а именно этим внешним по отношению к сугубо познавательным целям науки критерием измеряется здесь успешность научной теории) напрямую связана со способно-



стью научного сообщества «создавать» фреймы, в которых, в частности, принимаются и политические решения. Авторы подчеркивают, что «хотя научные изыскания редко или даже никогда не определяют политический курс... тем не менее они играют важную роль при расстановке политических приоритетов. В политическом процессе имеет значение то, о чем думают люди, а также то, *каким образом* они думают о тех или иных вопросах» [Грундманн, Штер, 2015: 32]. Заметим, что фреймы восприятия, формируемые научным (или «эпистемическим») сообществом, ориентированы как на политиков (непосредственно принимающих политические решения), так и на обывателей (тех, кто выражает отношение к принятым решениям). В политико-идеологическом контексте научное знание, таким образом, выполняет одновременно регулятивную и легитимационную функции. Причем авторы обращают внимание на то, что знания могут «воздействовать на реальность» двояким образом: с одной стороны, «знания могут выступать в форме идей, представляющих интерпретации ситуаций (фреймы) и определяющих проблемы, тем самым влияя на их решения» [Грундманн, Штер, 2015: 38], с другой стороны, «само знание содержит в себе возможность действия в связи с конкретным проблемным случаем» [Грундманн, Штер, 2015: 38].

Грундманн и Штер подчеркивают, что в современном контексте воплощение бэконовской максимы о сути научного знания в его отношении к обществу напрямую связано с возможностью влиять на процесс принятия политических решений. Именно способы обретения этого влияния более всего интересуют авторов. В контексте данного рассмотрения Грундманн и Штер отказываются от универсализации понятия научного знания – они вовсе не утверждают, что, скажем, физическая теория струн и эконо-

номическая теория занятости в равной мере и очевидным образом способны оказывать влияние на политическую повестку. Это утверждение было бы по меньшей мере легковесным. Отмечу, что Грундманн и Штер совсем не уделяют внимания проблеме «власти» фундаментальной науки – социально-политическим аспектам направлений ее развития. По-видимому, способ постановки проблемы, предложенный ими, попросту не позволяет качественно анализировать данный вопрос, поскольку феномен фундаментальной науки не укладывается в то достаточно узкое определение знания, которое предлагают авторы.

Грундманна и Штера интересует особый кластер научного знания – так называемое знание для практики, где исследования изначально ориентированы на разработку научных программ социального реформирования в той или иной сфере. Основными ретрансляторами такого знания являются эксперты и политические консультанты, чье влияние в сверхсложном современном обществе чрезвычайно растет. И актуальным здесь представляется следующий вопрос: какие факторы способствуют политическому признанию того или иного учения? Отвечая на него, Грундманн и Штер полагают, что теоретико-познавательные преимущества той или иной концепции не являются параметром, по которому оценивается их политическая релевантность. Напротив, рассмотренные кейсы показывают, что концепции кейнсианства, расологии и климатологии вызвали в свое время серьезные сомнения в их научной обоснованности и тем не менее обрели авторитет и влияние на сферу политики.

Учение Кейнса долгое время не было востребовано, поскольку его ключевые положения строились на отвержении господствовавшего неоклассического подхода к экономическим проблемам. Кроме того, радикальные меры



по стабилизации экономики (среди которых главным требованием являлось увеличение государственных затрат) в ситуации кризиса не воспринимались как очевидные и требующие незамедлительного исполнения. В 1932 г. Кейнс активно призывал правительство Веймарской Республики к отказу от антиинфляционистских методов в экономике и активной поддержке уровня потребления. Однако аргументы Кейнса не нашли поддержки не только у правительства Генриха Брюнинга, но и в среде немецких экономических экспертов. Один из ведущих экономистов, Альфред Вебер, заявил, что ни один политэконом, стремящийся «к истине и ясности», не придет в здравом уме к заключению, что восстановить экономику можно без снижения «жалований и зарплат» (ведь меры, предложенные Кейнсом, подразумевали по сути еще большее увеличение денежной массы в ситуации галопирующей инфляции!). Ограниченность представлений в среде экономических экспертов (непонимание ими циклического характера денежной политики), нерешительность правительства и неготовность к радикальным мерам, а также вера в универсальную способность рынка к саморегуляции привели Германию к окончательному экономическому коллапсу, который, как известно, сыграл на руку пришедшим через год к власти национал-социалистам.

Грундманн и Штер, основываясь на изучении исследований по истории кейнсианства, приходят к выводу, что «вероятность эффективной диссеминации и имплементации экономических идей существенно возрастает, если соответствующие теории изначально находят поддержку у элиты того или иного государства» [Грундманн, Штер, 2015: 70]. А существенным фактором поддержки здесь оказывается готовность государства к активному вмешательству в экономику — то, чему не нашлось места

в Веймарской Республике и что оказалось необходимой мерой в послевоенном мире. Пик влияния идей кейнсианства сначала в Америке, а затем в Европе приходится на 1940–1960-е гг. — период, когда востребованность государственного регулирования в силу исторических обстоятельств была максимальной, и сходит на нет к 1970-м, когда усиливается интеграция национальных экономик и снижаются возможности прямого государственного регулирования. Таким образом, среди факторов, способствовавших распространению кейнсианства, можно выделить необходимость восстанавливать послевоенные экономики при активном участии государства, относительную открытость политического руководства и его восприимчивость к рекомендациям экспертов, легкость и гибкость теоретической модели Кейнса.

Тем не менее история кейнсианства, рассмотренная Грундманном и Штером, едва ли служит аргументом в пользу тезиса о том, что научное знание может моделировать политическую повестку дня. Скорее, наоборот, политическая повестка в случае с кейнсианством оказалась одним из решающих факторов, способствовавших его активной реализации. И политическая конъюнктура послевоенного мира (кейнсианство наиболее соответствовало экономической программе социал-демократов) в существенной мере объясняет успешность воплощения этих идей. Конечно, кейнсианство «сработало» еще и потому, что доказало свою результативность (пусть и относительно кратковременную) в решении текущих задач. Однако многие экономисты считают, что идеи Кейнса не основывались на научном анализе (и даже во многом находились в противоречии с экономическими расчетами), а были скорее популистско-идеологическими [Hayek, 1995]. Могло ли кейнсианство обрести «власть» в другом полити-



ко-идеологическом контексте? Этот вопрос остается открытым, однако анализ Грундманна и Штера не представляется достаточным для подтверждения заявленного ими тезиса о влиянии научной программы на политический контекст.

Второй кейс, который рассматривается в книге, связан с историей расологии. Авторы показывают, что активное обращение к расологическим исследованиям в начале XX в. во многом было обусловлено дисциплинарным развитием антропологии. Концепции здесь выстраивались путем экстраполяции дарвиновских идей об организующем отборе и роли наследственности и изменчивости в изучении «человеческих популяций». Наукообразные концепции создавались на основе колоссального количества эмпирических данных, теоретические интерпретации которых характеризовались далеко идущими обобщениями. Так, высота лба и размер головы напрямую связывались с уровнем интеллектуальной развитости – этого было достаточно для утверждений о «расовом превосходстве» одних и неполноценности других. Кроме того, в качестве критерия эволюционной успешности той или иной «расы» выдвигался уровень развития духовности и материальной культуры. Бесспорным эталоном оценки стала Северная Европа; так, в частности, делался вывод о том, что факт промышленной революции позволяет говорить, что «расы, проживающие на этой территории, наиболее развитые» [Грундманн, Штер, 2015: 119]. Расология вообще отличалась тем, что легко компенсировала нехватку научного обоснования выдвигаемых тезисов апелляцией к «здравому смыслу» и повседневному опыту европейского обывателя (в условиях чудовищного роста антисемитских настроений запрос на добросовестность научных объяснений подобных идей и не был высок). Грундманн и Штер показыва-

ют, что практическому воплощению расологических идей способствовали три фактора. Во-первых, возникла профессия, в рамках которой люди занимались «разведением» людей (программа расовой гигиены на базе Университета Гумбольдта и Института кайзера Вильгельма). Во-вторых, к 1933 г. расологи отказались от идеи «улучшения» расы путем социального воздействия на ее представителей – отныне расовые признаки признавались неизменными. В-третьих, к 1930-м гг. достаточное развитие получили техника антропометрии и сравнительная анатомия, позволившие расологам «точно измерять» и «научно классифицировать» расовые признаки. Все это придавало расологии облик подлинно научной дисциплины.

В силу указанных обстоятельств к концу 1930-х гг. Гитлер мог говорить о «научной обоснованности» притязаний на территориальную экспансию. Первоначально она объяснялась необходимостью снять политические границы между представителями единой расы, а затем – с 1939 гг. – была дополнена тезисом о «генетическом превосходстве арийской расы», которая по своему естественному праву вытесняет расы более слабые. Грундманн и Штер полагают, что фатальной оказалась синхронность дисциплинарного развития расологии и формирования внешнеполитического курса нацистской партии. Причем, по мнению авторов, становление расологии, «научная программа» которой впоследствии позволила оправдать уничтожение евреев, было инициировано в равной мере внутридисциплинарным и внешним политическим контекстом знания. Теоретические выводы, послужившие впоследствии легитимации Холокоста, в некоторой мере отражали внутреннюю тенденцию теории к накоплению объяснительного потенциала и расширению прогностического горизонта.



Расологическая теория в значительной мере была результатом естественной эволюции антропологии, одним из направлений исследований в области теории эволюции. Тем не менее дисциплинарный статус расологии не объясняет того воодушевления, с которым ученые выдвигали свои устрашающие гипотезы по поводу естественной неравноправности рас и необходимости мер по искусственному отбору во имя «общевидового» прогресса. Был ли причиной того воеобразный инфантилизм исследователей, готовых пожертвовать этическими ограничениями во имя накопления знаний и апробации научных результатов? Или же виной всему вопиющая недалновидность научного сообщества, неумение предугадать социальные последствия развития и практического воплощения расологической теории? В любом случае анализ Грундманна и Штера показывает, что ответственность расологов за участие в обосновании Холокоста не сводится к банальному оппортунизму и страху противодействия кровавой диктатуре. «Власть» расологической теории – результат сложного взаимодействия как внутридисциплинарных, так и институциональных, политических факторов. Он особенно значим для истории и философии науки, поскольку позволяет увидеть, какие чудовищные последствия может иметь симбиоз (псевдо)науки и политики, если он не подвергается гуманитарной экспертизе.

Последний кейс, который рассматривают Грундманн и Штер, связан с изучением глобальных климатических изменений, деятельностью МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изучению климата), а также влиянием экспертов-климатологов на мировую политическую повестку.

Известно, что текущие знания о факторах, влияющих на климатические изменения, не отличаются ни пол-

нотой, ни однозначностью интерпретаций фактических данных. Методологические проблемы климатологии связаны как с поиском и сбором данных, так и с проблемами их обработки и обобщения. Грундманн и Штер пишут, что гипотеза об антропогенном влиянии на климатические изменения ищет научного подтверждения, в частности через метод так называемой палеоклиматической реконструкции (восстановления данных о климатических характеристиках различных эпох). Однако этот метод позволяет получить лишь косвенные свидетельства, поскольку основан на анализе годичных колец деревьев. В среде климатологов ведутся ожесточенные дискуссии о правомочности заключений, основанных на столь неоднозначном методе (так называемый «спор о хоккейной клюшке»).

Другим положением, сомнительным с точки зрения научной обоснованности, является тезис о влиянии фреонов на разрушение озонового слоя. Впервые он был заявлен в статье Ш. Роланда и М. Молина в Science в 1974 г. и практически сразу стал поводом к активным общественным и политическим дискуссиям. Их итогом в свою очередь оказалось принятие в США в 1977 г. закона о запрете использования фреонов в спреях, что позволило почти на четверть сократить мировые выбросы аэрозолей. Грундманн и Штер подчеркивают, что политическое решение основывалось здесь отнюдь не на научном доказательстве изложенной гипотезы (на тот момент ученые не предполагали фактическими данными об изменении атмосферы – их выводы основывались на модельных вычислениях сокращения озонового слоя в будущем); признание гипотезы достоверной стало скорее следствием «общественного признания ее ценности» [Грундманн, Штер, 2015: 187]. Анализ этих ав-



торов показывает, что научная экспертиза проблемы влияет на политические решения по вопросам климатических изменений едва ли не в последнюю очередь. Кроме того, практические выводы здесь затруднены отсутствием консенсуса среди самих исследователей по вопросу теоретических интерпретаций данных.

Методологические лакуны в климатологии (главным образом, отсутствие единства в понимании причинно-следственных связей между факторами климатических изменений) создают возможности для спекуляций. Единоличное господство МГЭИК в сфере климатической экспертизы приводит к маргинализации альтернативных подходов и утверждению методологического канона, преобладание которого скорее обусловлено консенсусом в общественном мнении, чем итогами внутренней эволюции знания. Кроме того, важно помнить, что экспертиза в сфере климатологии теснейшим образом затрагивает интересы транснациональных компаний. Поэтому, вероятно, как политические решения, так и «научные» заключения в сфере климатологии в существенной мере лоббируются с учетом этих интересов. Все эти обстоятельства заставляют усомниться в научной достоверности того знания, которое производит экспертное сообщество климатологов.

В свете последнего замечания интересно еще раз взглянуть на все три кейса, которые предложили Грундманн и Штер. Анализ их работы показывает, что бэконовское определение знания, о котором говорилось выше, они считают необходимым дополнить еще одним – институциональным – критерием. Складывается впечатление, что с их точки зрения именно этот последний является ключевым для придания знанию статуса научного. Выделение такого критерия вполне вписывается в общую логику этих авторов, поскольку именно институционализация той или иной концепции/дисциплины,

как полагают Грундманн и Штер, способствует приобретению ею «власти» (определенного потенциала влияния на политическую повестку). Здесь, однако, любопытно то, что как раз этот последний критерий сам по себе не может служить достаточным основанием для удостоверения научности знания и именно это показывают все три сюжета книги. В случае утраты институциональной поддержки и кейнсианство, и расология, и климатология (по крайней мере в ее нынешнем виде) оказываются несостоятельны. Так, концепция Кейнса вызывала жесточайший отпор в среде экономистов до тех пор, пока не нашла поддержки у политиков (именно к этому выводу приходят наши авторы). Многие экономические эксперты до сих пор считают, что кейнсианство представляло собой скорее идеологическую программу, чем научно-экономическую. Не случайно кратковременный успех кейнсианства завершился гигантским инфляционным пузырем, возникшим в тех странах, которые попытались следовать рекомендациям Кейнса (главным образом, в США и Великобритании). Кстати, исход этих попыток был легкопрогнозируем с самого начала. Экономические расчеты и прогнозы позволяли судить о том, что предложенные меры носят чрезвычайный и краткосрочный характер. Кроме того, они основываются не столько на серьезном научном анализе, сколько на логике здравого смысла и сиюминутной целесообразности. Потому не удивительно, что в ряде «кейнсианских» стран стратегия «свободного рынка» довольно быстро вернула утраченные позиции, придя на смену активному вмешательству государства в экономику. В условиях многократно усложнившегося управления современным производством эта стратегия представляла более рациональной. (Огромная заслуга в демонстрации «близорукости» кейнсианства и его просчетов



принадлежит австрийской экономической школе.)

История вынесла свой вердикт и в отношении расологической теории. Современная антропология опровергла тезис о предустановленном биологическом и интеллектуальном превосходстве одних рас над другими; кроме того, опровергнуто положение о прямой корреляции между физиологическими особенностями представителей разных рас и их когнитивными и поведенческими способностями. Сегодня тезис о соотношении объема мозга и уровня интеллектуальных способностей вызывает лишь справедливую иронию среди биологов, которые резонно замечают, что если бы подобная корреляция действительно имела место, то киты (а вовсе не люди) построили бы цивилизацию и летали в космос. Признание расоведения в нацистской Германии, как было показано, никак не было связано с достоверностью утверждений его адептов. Ключевым фактором успеха была та политическая повестка, которую, по сути дела, они обслуживали. То же самое – хотя, видимо, с большей осторожностью – можно сказать и о современной климатологии.

Подобное, как представляется, далеко не случайное сходство трех названных концепций позволяет сделать вывод о том, что во всех случаях ссылка на науку выдвигаемых в них положений выполняла скорее легитимационную функцию, нежели подтверждала их обоснованность и достоверность. В этой связи вызывает сомнение само название рецензируемой работы. Вероятно, слово «научное» в нем следовало бы заменить на «экспертное», поскольку именно понятие экспертизы схватывает тот специфический модус функционирования знания в обществе, когда с некоторой квазинаучной позиции формулируются социально значимые положения и разрабатываются практические рекомендации. Однако поскольку как в заглавии, так и в со-

держании книги речь идет именно о *научном* знании, а понятие «экспертиза» если и упоминается авторами, то лишь вскользь, приходится сделать вывод о явной недостаточности того институционального критерия научности, на который они делают основной упор. Повторим еще раз: анализ Грундманна и Штера позволяет утверждать, что каждая из рассмотренных ими концепций обретала статус «научной» в большей мере из-за того, что приходилась «ко времени и ко двору» (служила текущим политическим и идеологическим интересам), а не потому, что обладала существенными эпистемологическими преимуществами и выигрывала в честной конкуренции с другими теориями. В силу этого для меня открытым остался вопрос, были ли три рассмотренных кейса историями о «власти научного знания» или все-таки об отношениях между властью и знанием, всего лишь *pretendующим* на научность. Тем не менее в контексте современной социально-эпистемологической проблематики вопрос остается одним из центральных. В этом плане книга ценна не только ярким фактологическим содержанием, но и расширением горизонта проблемного поля социальной эпистемологии.

Библиографический список

Вахштайн, 2014 – *Вахштайн В.С.* Социология повседневности и теория фреймов. СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014.

Гофман, 2004 – *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН, 2004.

Грундманн, Штер, 2015 – *Грундманн Р., Штер Н.* Власть научного знания. СПб. : Алетейя, 2015.

Hayek, 1995 – *Hayek F.A.* Contra Keynes and Cambridge. Essays, Correspondence // *The Collected Works of F.A. Hayek* ; ed. by B. Caldwell. Vol. 9. N.Y. : Routledge, 1995.